

ЕЁ ДОЧЬ СТЁРЛИ ИЗ ПАМЯТИ ВСЕХ, КТО ЕЁ ЗНАЛ.
НО ЗАБЫЛИ ОДИН ДЕТСКИЙ РИСУНОК.

ТИШЬ

РОМАН



МАРК ЗАЙКИН

Марк Заикин

Тишь

<https://litres.ru/74675134>

SelfPub; 2026

Аннотация

Её дочь стёрли из всех документов, со всех фотографий, из каждой памяти. Но забыли один детский рисунок.

В городе Халлам никто не горюет. Когда человек умирает, Утешитель надевает серебряный Венец на головы тех, кто его любил, и запечатывает каждое воспоминание. Нет ни похорон, ни траура. Есть только покой.

Рен Кэллоуэй — лучшая Утешительница Седьмого округа. Однажды она чинит батарею в своей квартире и находит за ней детский рисунок: «МАМА Я И ПИП. Джунипер 6 лет».

У Рен нет дочери. По документам её никогда не было.

Но её руки знают, как сложить эту бумагу, а на стенах города кто-то пишет мелом имена забытых. Чтобы найти девочку, Рен придётся нарушить все правила, перейти замёрзшее озеро и выбрать между памятью о собственном ребёнке и возвращением целому городу его горя.

«Тишь» — антиутопия о матери, дочери и о том, что мы теряем, когда перестаём позволять себе боль.

Содержание

Часть первая. Пустота	4
Глава первая. Извещение об уходе	4
Глава вторая. Прежние жильцы	21
Глава третья. Женщина в приёмной	35
Глава четвёртая. Хестер	48
Глава пятая. Подземье	62
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Марк Заикин

Тишь

Всем, кому когда-нибудь говорили: «Отпусти и живи дальше».

Марк Заикин

Что ушло — не ранит. Что утишено — сохранено.

Символ веры Министерства Утешения

Что ушло — всё ещё наше.

Надпись мелом в Подземье

Часть первая. Пустота

Глава первая. Извещение об уходе

Мальчик утонул во вторник, а к четвергу его мать была готова его забыть.

Рен Кэллоуэй прочла извещение об уходе дважды, ещё в коридоре. Она всегда читала их дважды. Первый раз — ради фактов, второй — ради очертаний горя, которых в бланке никогда не было и которые всё равно проступали между строк, как вода проступает в покоробленной половице.

Умерший: Бенедикт Арло Прайс. Возраст: одиннадцать лет, четыре месяца. Причина: утопление, река Сенна, ниже моста Холлорана. Ближайшие родственники: Одиль Прайс (мать). Отец: не указан. Братья, сёстры: нет. Запрос: полное утишение. Зачистка назначена: пятница, 9:00.

В графе *Дополнительные замечания* регистратор приписал: *клиентка спокойна, сотрудничает, просит сделать всё побыстрее.*

Об этом просили все. Рен сложила бланк по сгибу и убрала во внутренний карман серого пальто, где он лёг ей на рёбра, как второе, плоское сердце.

Коридоры Дома Утешения Седьмого округа были выкрашены в цвет некрепкого чая. Цвет когда-то выбрала комиссия, из целой палитры, которую испытывали на добровольцах, замеряя пульс. Картин на стенах не было. Музыки тоже — кроме как в конце дня, когда динамики под потолком играли первые такты «Вечернего утешения», и все в здании, от директора до девушки, которая мыла лестницу, на мгновение замирали, чуть склонив головы. Рен любила это здание. Любила его тишину, то, как ковёр принимал её шаги и возвращал их мягче. Она работала здесь три года и ни разу не опоздала.

Четвёртая комната была в конце коридора. Рен постучала, подождала и вошла.

Одиль Прайс сидела в кресле у окна, не сняв пальто. Она оказалась моложе, чем Рен представила по почерку в анкете,

— лет тридцати, с широким простым лицом и руками, которые держали друг друга на коленях, будто не давали одной из них что-то сделать. Окно выходило на шиферные крыши Веспер-Роу и на реку, серую в это утро, плоскую, как олово. Рен мысленно отметила, что надо поговорить с хозяйственной службой. Женщину, у которой утонул сын, нельзя сажать в комнату с видом на воду.

— Миссис Прайс. Меня зовут Рен. Сегодня я буду вашей Утешительницей.

— Мне сказали, что будет женщина. — Одиль Прайс посмотрела на неё и отвела взгляд. — Я рада. Сама не знаю почему.

— Почти все рады. — Рен придвинула второй стул, близко, но не слишком, и села так, чтобы их колени были под углом, а не друг напротив друга. — Может быть, снимете пальто? С Венцом здесь становится тепло.

— Я так посижу.

— Конечно.

Венец лежал на подставке на боковом столике, под салфеткой. Рен пока не открывала его. В учебке эту часть называли *порогами* учили ей неделями — дольше, чем самой процедуре. Надеть Венец, прочитать след и поставить печати может научиться кто угодно. Порог требовал дара.

— Сейчас я расскажу вам, что будет происходить, — сказала Рен, — а потом вы сможете спросить у меня что угодно, и потом, когда будете готовы, и только когда будете готовы,

мы начнём. Пока вы не скажете, ничего не случится. Хорошо?

Одиль кивнула.

— Через минуту я попрошу вас надеть Венец. Он лёгкий, легче шляпы. Это не больно. Потом я попрошу вас рассказать мне о Бенедикте. Что угодно. Не обязательно по порядку. Не обязательно быть храброй или говорить красиво. Пока вы рассказываете, Венец слушает, куда уходят ваши мысли, а я смотрю, и вместе мы составляем карту. Когда карта будет готова, я поставлю печати. Это занимает около минуты. Вы почувствуете усталость. Скорее всего, проспите час или около того, а когда проснётесь, пойдёте домой.

— И я не буду его помнить.

— Он не будет причинять вам боль. — Рен сказала это так, как её учили, и так, как сама в это верила. — Всё, чем он был, сохранится. Ничего не уничтожается. Оно запечатывается, как запечатывают письмо. И кладётся в надёжное место, откуда не сможет до вас дотянуться.

— Куда?

— В надёжное место, — мягко повторила Рен. На этот вопрос не было ответа лучше. — Бригада Зачистки придёт завтра утром. Они будут очень тихими и очень быстрыми. К обеду квартира станет просто вашей квартирой.

— Его комната.

— Станет просто комнатой.

Одиль Прайс опустила глаза на руки. Большой палец од-

ной медленно ходил по костяшкам другой, туда и обратно. Рен видела это движение тысячу раз. Так тело пытается оттереть пятно.

— Мама это делала, — сказала Одиль. — По отцу. Мне было девять. Помню, как она пришла из Дома такая лёгкая. Напекла блинов. Она год не пекла блинов. Спросила, почему я плачу, а я не могла ей сказать: она уже не знала, кто он, а мне не разрешалось говорить. — Она подняла глаза. — Меня не утишали. Сказали, что я слишком маленькая, сама забуду. Вы знали? Что про детей раньше так говорили?

— Знала, — ответила Рен. — Теперь так не говорят.

— А я не забыла. Просто перестала об этом говорить. — Её губы сложились во что-то, что не было улыбкой. — Это странно? Делать такое, когда знаешь, каково это — быть тем, кто помнит?

— Нет, — сказала Рен. — Мне кажется, поэтому вы это и делаете.

Одиль выдохнула — долго, прерывисто, — и руки на её коленях отпустили друг друга.

— Хорошо, — сказала она. — Хорошо. Покажите мне эту штуку.

Рен сняла салфетку.

Венец был шапочкой из тонкой серебряной сетки: звенья такие мелкие, что казались тканью, пока на них не падал свет. Весил он примерно как сложенный носовой платок. От его заднего края тонкий провод тянулся к считывателю на

столе — чёрному планшету размером с молитвенник. Рен коснулась планшета, он проснулся и показал бледно-серое поле, пустое и ждущее.

Венец она всегда надевала сама. Некоторые Утешители позволяли клиентам делать это самим, но Рен считала, что в начале такого дела человека важно коснуться бережно. Она собрала волосы Одиль с висков и уложила сетку, и та, как всегда, сама плотно облегла голову с тихим звуком, похожим на вдох сквозь зубы.

— Чувствуете?

— Холодная.

— Сейчас согреется. Ну вот. Расскажите мне о нём.

Сначала всегда наступало молчание. Рен научилась его не заполнять.

— Он ненавидел своё имя, — наконец сказала Одиль. — Бенедикт. В честь моего деда. Он хотел, чтобы его звали Бен, но боялся мне сказать, думал, я обижусь, поэтому в школе велел всем звать его Беном, а дома откликался на Бенедикта, и я узнала, только когда учительница прислала записку. *Бен очень помог нам в этой четверти.* Я подумала, они перепутали мальчика.

На планшете появилась линия света — слабая, блуждающая, как река, увиденная с огромной высоты.

— Он любил мосты. Все подряд. Знал, как их строят, какие висячие, а какие консольные. Я даже не знаю, что значит «консольный». Он мне сто раз объяснял. — Она рассмея-

лась, коротко и испуганно. — Он собирался построить мост. Говорил, что построит новый, через всю Сенну, из стекла, чтобы под ногами было видно реку.

Линия разветвилась. Вторая река, третья. На развилках они начинали светиться.

— Продолжайте, — тихо сказала Рен.

Одиль говорила сорок минут. Рен слушала, смотрела и время от времени вставляла слово — *даили а потом* — а однажды, когда Одиль надолго замолчала, закрыв глаза, не сказала ничего, только положила ладонь на подлокотник рядом с рукой Одиль, не касаясь её. Карта росла. Рен каждый раз удивлялась, какой огромный человек, если разложить его вот так. Одиннадцатилетний мальчик, а заполнил планшет от края до края: мосты, собака, которую он хотел и так и не получил, жар, когда ему было четыре, запах его волос, привычка спать, высунув ногу из-под одеяла, ссора из-за куртки. Ярче всего светились места, где голос Одиль становился ровным. Это были глубокие места, где у памяти были корни.

Реки на карте не было. О реке Одиль не говорила. О конце не говорил никто. Конец — не то место, где человек жил.

Когда свет перестал расползаться, Рен сказала:

— Кажется, всё.

Одиль открыла глаза. Они были влажные, но она не плакала; у неё был оглушённый, выскобленный вид человека, который прошёл очень долгий путь.

— Уже?

— Вы прекрасно справились.

— А я буду знать? — спросила Одиль. — Потом. Буду знать, что он у меня был?

Рен задавали этот вопрос тоже тысячу раз. Положенный ответ звучал так: *Вы будете знать, что обрели покой*, — и она его дала, потому что это была правда и потому что это были добрые слова. А потом, раз женщина всё ещё смотрела на неё, добавила то, чего обычно не добавляла:

— Иногда люди чувствуют что-то вроде пустого места. Там, где что-то было. Мы называем это пустотой. Говорят, это не больно. Похоже на лунку, когда выпадет зуб. Язык какое-то время всё туда тянется. А потом перестаёт.

— Пустота. — Одиль словно повертела слово в руках. — Это не так уж страшно.

— Нет.

— Хорошо, — повторила она. — Делайте.

Рен коснулась планшета. Печати были маленькими серыми знаками; они появлялись один за другим вдоль самых ярких ветвей карты, как стежки. Она ставила их в том порядке, которому её учили: сначала внешние ветви, корни в последнюю очередь. Карта гасла не сразу, а по частям — так гаснут вечером окна в доме. Жар. Куртка. Мосты, один за другим: висячий, консольный. Имя, *Бенедикт*, и другое имя, *Бен*, у которого был свой маленький отдельный огонёк, чуть в стороне от остальных, будто его носили в другом кармане.

Его она запечатала последним. Имена она всегда запеча-

тивала последними.

Одиль Прайс тихо вздохнула — так вздыхают, когда ставят на пол тяжёлую ношу, о которой успели забыть, — голова её склонилась к подголовнику, и она уснула.

Рен немного посидела, сложив руки на коленях.

Этому не учили. Вряд ли это было в каком-нибудь наставлении. Она просто сидела, каждый раз, столько, сколько нужно, чтобы медленно сосчитать до ста, в тихой комнате со спящим человеком, и ни о чём особенном не думала. Иногда ей казалось, что это что-то вроде уважения. Иногда — что это ближе к бдению, хотя бдеть было уже не над кем. Кто-то должен минуту посидеть с ним, думала она, с мальчиком, раз больше никто не посидит. Кто-то должен быть последним.

На ста она встала, сняла Венец, сложила сетку и смотала провод. Записала в бланк время сеанса и расписалась. Карта на планшете сжалась в маленький серый квадрат с номером. Двумя касаниями Рен отправила его в Реликварий. Планшет погас.

Потом она пошла искать, с кем поговорить насчёт комнаты с окном.

* * *

Свидетельство пришло из типографии в полдень, ещё тёплое. *СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОКОЕ. Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего, Одиль Маргарет Прайс, полу-*

чила Утешение согласно положениям Акта и пребывает в покое. Внизу оставлялось место для подписи Утешителя. Рен расписалась узким прямым почерком, над которым посмеивались коллеги, — *почерк классной дамы*, — и вложила свидетельство в конверт, чтобы медсестра отдала его Одиль, когда та проснётся.

— Это уже третья за неделю, — сказала Петра Айлз, прислонившись к косяку архива с двумя чашками чая в руках. Одну она протянула Рен. — Заработаешь репутацию.

— Какую?

— Что ты хорошо работаешь. Нам всем от этого жутко досадно. — Петре было двадцать шесть. Весной она пришла из училища с лентой отличницы и привычкой мурлыкать позывные «Утешения», пока раскладывает бумаги. У неё было круглое веснушчатое лицо и такая жизнерадостность, которую Рен сначала приняла за глупость, потом — за игру и наконец поняла, что Петра просто так устроена. — Мистер Гарамонд во второй комнате всё утро рыдал. Я два раза останавливалась. Не думаю, что печати у него удержатся. Это же видно, правда, когда человек на самом деле не хочет.

— Удержатся.

— Он рассказывал мне про собаку. — Петра присела на край стола. — Не про покойную. Про собаку, которая была у него в детстве. Прямо посреди сеанса начал про эту собаку. Я не знала, что делать, нанесла её на карту, а потом не знала, запечатывать или нет.

— Запечатала?

— Нет. Её не было в извещении. — Она нахмурилась в чашку. — Правильно?

— Правильно, — сказала Рен. — Запечатывают только то, что в извещении.

— Просто грустно. Собака у него останется, а жены не будет.

— Болит у него не из-за собаки.

— Наверное. — Петра отпила. — А ты никогда не думала, каково это? Когда тебе самой делают?

— Нет, — сказала Рен, и это не было ни правдой, ни ложью. В самом начале она иногда думала об этом — пока не поняла, что думать об этом бесполезно. Она никого не теряла. Семьи у неё, можно сказать, не было. Родители умерли, когда она была младенцем, в самый страшный год лихорадки, и её утишили по ним раньше, чем она начала себя помнить; выросла она в казённом приюте во Втором округе, чистом и тёплом, где хозяйничали добрые усталые женщины, и, насколько могла судить, была там счастлива. Пустот своих она не замечала: никогда не знала себя без них. Это всё равно что спросить человека, родившегося в городе, каково ему скучать по морю.

— По-моему, это чудесно, — сказала Петра. — Просто взять и положить это.

— Чудесно, — сказала Рен. — Все так говорят.

Она вышла из Дома в шесть, под позывные. Темнело теперь рано. На площади в конце Веспер-Роу фонарщики шли вдоль ряда чугунных столбов со своими длинными латунными шестами. После Скорби, когда отказали электростанции, город вернулся к газовым фонарям — и так и не ушёл от них, даже когда электричество дали снова. Люди говорили, что электрический свет слишком резкий. Рен тоже нравился газ. Площадь в нём выглядела как собственный портрет.

Из динамиков на столбах шло «Вечернее утешение». Голос министра Арден звучал из них тепло, низко и близко, словно она сидела рядом с тобой в темноте.

Добрый вечер, Халлам. Сегодня по всему городу двести шесть наших соседей пришли в Дома Утешения и сложили свою ношу. Двести шесть. Подумайте об этом. Двести шесть человек будут спать этой ночью без той тяжести, которую несли утром. Кто-то из них завтра пройдёт мимо вас на улице. Вы их не узнаете. Так и должно быть. Но если увидите кого-то, кто улыбается чуть легче, чем вчера, — можете позволить себе догадаться. И можете позволить себе порадоваться.

Домой Рен пошла вдоль реки. Это был не самый короткий путь. Она выбирала его, потому что любила воду в этот час, когда фонари удваиваются на её поверхности, и потому что

плохо спала, а долгая прогулка помогала. Спала она плохо, сколько себя помнила. Врач при Доме выписал ей капли, и она иногда их принимала, и иногда они помогали.

Мы помним Долгую Скорбь, чтобы никогда не прожить её снова,— говорила министр. — Двадцать восемь лет назад этот город не мог перестать плакать. Знаете, как это звучит? Я знаю. Это звучит как конец света. Мужчины не могли работать. Матери не могли подняться с постели. Река...

Здесь была пауза, та самая, знаменитая. Рен слышала её десять тысяч раз, и всё равно у неё что-то сжималось в груди.

...река была полна. Вот что делает горе, когда мы ему позволяем. Оно наполняет реку.

На мосту Холлорана она остановилась, сама не собираясь, и посмотрела вниз. Вода медленно и черно шла под арками. Где-то здесь во вторник в неё упал мальчик. На мгновение она ощутила его — не образ, а что-то вроде очертания, как чувствуешь тепло, оставшееся в кресле. Потом оно исчезло. В конце концов, она его запечатала, и он был не её, чтобы хранить.

Что ушло — не ранит,— сказала министр. — Что утишено — сохранено. Спокойной ночи, Халлам. Спите спокойно.

Позывные сыграли и смолкли.

Дом девятнадцать по Тэллоу-стрит был узким кирпичным зданием в пять этажей, с зелёной дверью и латунным молотком в форме руки, который никто не чистил много лет. Рен жила на самом верху, в квартире 4Б, — на самом деле это был пятый этаж, потому что внизу была лавка пуговиц и она не считалась. Жила она здесь девять лет. Она знала это, потому что так значилось в жилищной конторе и потому что женщина из пуговичной лавки иногда говорила: *девять лет вы ходите вверх-вниз по этой лестнице, а батарею так и не починили.*

Батарея была их общей шуткой. Старая чугунная, под окном в комнате, с декоративной панелью из крашеной жести, и панель болталась, сколько Рен себя помнила. Когда включали отопление, она дребезжала. Осенью, когда трубы только наполнялись, дребезжала так, что было слышно из спальни, — тонкий жестяной стрекот, как стук зубов. Каждый год Рен говорила, что починит. Каждый год не чинила. Бывают такие вещи.

Сегодня, когда она вошла в квартиру и прибавила газ, всё началось снова. *Тик-тик-тик-тик.*

Она стояла в тёмной комнате, не сняв пальто, слушала — и без всякой причины, которую могла бы назвать, ей захотелось плакать.

Это прошло. Это всё прогулка, подумала она, и мост, и длинный день. Она повесила пальто. Зажгла лампу, и комната проступила вокруг: два кресла, стол с одним стулом, полка с книгами, купленными с рук и почти не прочитанными, узкая кухня за ней, всё чистое, выровненное и на своих местах. Хорошая комната. Люди, которые сюда заходили — те немногие разы, когда кто-то заходил, — всегда так говорили. *Как спокойно*, говорили они. *Как это на вас похоже*.

Тик-тик-тик.

— Ладно, — сказала она вслух. — Ладно.

Она нашла в кухонном ящике отвёртку, взяла фонарик и встала на колени на коврик перед окном. Панель держалась на четырёх винтах, по одному в каждом углу, покрашенных столько раз, что головки почти исчезли. Она выскребла краску кончиком отвёртки. Два винта повернулись легко. Третий туго. Четвёртого не было вовсе — вот откуда дребезг; надо будет купить новый в скобяной лавке на Лэмб-стрит, если не забудет. Она подцепила панель пальцами. Та отошла с сухим жестяным скрипом и выдохнула тёплую пыль.

За ней была сама батарея: чёрные ворсистые от пыли чугунные рёбра, тикающие от тепла. Между батареей и стеной оставался зазор сантиметров в восемь, и в этом зазоре, засунутый низко, туда, куда никто никогда не заглянет, пока не снимет панель, лежал квадратик сложенной бумаги.

Рен посмотрела на него. Потом протянула руку и вытащила. Бумага была тёплой от труб. Её сложили вчетверо, а по-

том ещё раз вчетверо, очень маленьким тугим квадратиком, как складывают записки на уроке. Кто-то прогладил сгибы ногтем. Рен развернула её на коврике, под фонариком.

Это был рисунок. Восковые мелки на дешёвой бумаге, такой, что продают в рулонах. На зелёной полоске травы под жёлтым солнцем с лицом стояли в ряд три фигуры. У самой высокой были длинные каштановые волосы и платье — серый треугольник. Рядом стояла фигурка поменьше, с каштановыми волосами и в красном треугольнике. Рядом с ней, в конце ряда, было что-то с очень длинными ушами — то ли кролик, то ли собака, которую нарисовал человек, ни разу не видевший собак.

Над ними большими старательными буквами, которые приваливались друг к другу, как уставшие люди, кто-то написал:

МАМА Я И ПИП

А внизу, в уголке, мельче, той же рукой:

Джунпер 6 лет

Рен села на пятки.

Батарея тикала. Внизу по булыжнику проехала телега, громокая железными ободьями. Где-то в доме тихо играло радио — ночной повтор «Вечернего утешения», — и сквозь пол доносился голос министра, без слов, одни очертания, тёплые и низкие.

Прежние жильцы, подумала она. Только и всего. Какая-то семья, жившая здесь до неё. Такое сплошь и рядом: в старых

квартирах находишь вещи. Шпильки. Монетки. Письмо под бумагой, которой выстлан ящик. Девочка нарисовала маму и спрятала рисунок за батарею — дети так делают, чтобы спрятать или чтобы сохранить, — а потом семья переехала, а рисунок остался.

Совершенно разумное объяснение. А она была разумной женщиной.

Она посмотрела на самую высокую фигуру — на маму с длинными каштановыми волосами. Коснулась своих волос: длинных, каштановых, которые на работу она закалывала, а вечером распускала, как сейчас. Посмотрела на серый треугольник платья. Подумала о своём пальто на крючке за дверью. Серое. Утешители носят серое. Это все знали.

Каштановые волосы у многих.

Она смотрела на рисунок, пока не заныли колени. Потом, потому что рукам нужно было чем-то заняться, сложила его по старым сгибам — вчетверо и ещё вчетверо, маленьким тугим квадратиком. Сделала это не думая, не глядя, как завязывают собственные шнурки.

Она сидела на коврике очень тихо, держа маленький бумажный квадратик, а знание об этом оседало на неё, холодное, с огромной высоты, как первый снег.

Её руки точно знали, как это делается.

Глава вторая. Прежние жильцы

Она не спала.

Само по себе это было не странно. Странно было то, что она и не пыталась. Не приняла капли. Не легла в темноте считать от пятисот назад, что иногда помогало, или перечислять остановки трамвая вдоль Сенны от Висельной пристани до Феррьерс-Энда, что иногда помогало ещё лучше. Она сидела в кресле у окна, прикрутив лампу, с рисунком, развёрнутым на коленях, смотрела на него, а за стеклом проходила ночь.

В какой-то момент она встала, заварила чай и забыла его выпить.

В какой-то момент, ближе к трём, она пошла в спальню, встала посреди комнаты и оглядела её, как чужой человек, которого прислали её оценить. Кровать. Шкаф. Комод с зеркалом над ним. Тряпичный коврик, бело-синий, купленный на четверговом рынке, потому что понравились цвета. Стены бледно-зелёные. Рядом со шкафом на стене — небольшой прямоугольник чуть светлее, размером с ладонь, где что-то когда-то висело, картинка, наверное, а потом её сняли. Рен всегда считала, что это осталось от прежних жильцов. Она вообще никогда об этом не думала.

Из спальни вела вторая комната. Совсем маленькая, почти чулан с окном; Рен держала там вещи: сундук с зимними одеялами, коробку старых учебных пособий, сломанный

стул, который всё собиралась починить. Она открыла дверь, включила свет и посмотрела.

Половицы здесь были другого цвета, чем в спальне. Темнее, словно их долго что-то закрывало, коврик или кровать, а потом открыли. Вдоль плинтуса шёл ряд маленьких отверстий, на равном расстоянии — такие остаются, когда снимают полку. На окне была задвижка, лишняя, высоко, куда не дотянуться. Такую ставят на окно в комнате, где спит ребёнок.

Она закрыла дверь.

Прежние жильцы, сказала она себе, вернулась в кресло, села — и обнаружила, что её трясёт.

* * *

В половине седьмого она умылась, заколола волосы и надела серое пальто. Сложила рисунок в маленький тугой квадратик и убрала во внутренний карман, где обычно лежали извещения. На работу пошла коротким путём.

Жилищная контора Седьмого округа помещалась в длинном низком здании на Мэрроу-стрит, рядом с почтой. Открывалась она в восемь. Рен была первой в очереди. За стойкой сидел молодой человек с вычурными усами, которые он то и дело трогал, будто проверял, на месте ли они.

— Я хотела бы посмотреть учётную запись по дому девятнадцать на Тэллоу-стрит. Квартира 4Б.

— Вы наниматель?

— Да.

— Удостоверение личности.

Она подвинула его через стойку. Он посмотрел на удостоверение, на неё, ушёл в дверь за стойкой и через десять минут вернулся с картонной папкой, которую открыл на стойке между ними, развернув к ней.

Тэллоу-стрит, 19, кв. 4Б. Две комнаты и кладовая, кухня, общий туалет на площадке. Наниматель: КЭЛЛОУЭЙ, Рен Элизабет. Начало найма: 19 г., 3 сепня. Плата: четырнадцать марок в месяц, внесена. Задолженности нет. Жалоб нет.

Больше ничего не было.

— Прежние жильцы, — сказала она. — До меня. Есть запись, кто это был?

— До девятнадцатого года? — Клерк перевернул единственный лист. Под ним был только картон папки. — Это в старой картотеке. У нас в восемнадцатом был пожар, много старых жилищных дел сгорело. До этого ничего не найдёте. — Он посмотрел на неё с вежливым любопытством. — С квартирой что-то не так?

— Нет, — сказала она. — Всё так. Я нашла одну вещь, чужую. Хотела вернуть.

— А, ну. — Он пожал плечами. — Девять лет. Там уж наверняка и забыли.

В Доме она была в половине девятого, на полчаса позже обычного. Никто этого не заметил. Петра сидела за столом в архиве и раскладывала утренние извещения по стопкам. Подняла глаза, улыбнулась, сказала: «Ты усталая», — Рен сказала: «Плохо спала», — Петра сказала: «Ты всегда плохо спишь», — и на этом всё.

У Дома была своя картотека. В подвале — длинное помещение, заставленное стальными шкафами, освещённое рядом газовых рожков в матовых стеклянных шарах. Там учитывалось каждое утишение, проведённое в Седьмом округе с первого года: карточка на каждого клиента, карточка на каждого умершего, с перекрёстными ссылками, с датой, именем Утешителя и номером запечатанной карты в Реликварии. Самих воспоминаний карточки не содержали. Только голый каркас — имена и даты, факты, которые нужно хранить, чтобы машина города продолжала крутиться: чтобы прекращали пенсии, переоформляли имущество и никто случайно не выдал продуктовую книжку покойнику.

Утешители имели доступ к картотеке. Это было частью работы. Готовясь к сеансу, Утешитель мог проверить, утишали ли клиента раньше и по кому, чтобы не потревожить старые печати. Таково было правило. Ищешь своего клиента. Никого больше.

Рен стояла перед шкафом с буквой «К» и целую минуту не открывала его.

Правило её не пугало. Насколько она знала, никого ещё не наказывали за то, что посмотрел не ту карточку. Она просто никогда этого не делала. За три года она ни разу не открывала ящик, который ей не нужно было открывать. Стоя здесь, она осознала это как странную подробность о самой себе — так вдруг замечаешь собственный язык во рту. Она никогда не была любопытной. Ни насчёт картотеки, ни насчёт Реликвария, ни насчёт чего бы то ни было. Если она вообще об этом думала, то считала это чем-то вроде довольства.

Она открыла ящик.

КЭЛЛОУЭЙ. Под этой фамилией было семь карточек. Почти все очень старые: Абель Кэллоуэй, утишен по жене в четвёртом году; Марджери Кэллоуэй, умерла в одиннадцатом. Рен перебирала их внимательно, одну за другой.

Её собственная карточка была последней. *КЭЛЛОУЭЙ, Рен Элизабет. Род. в минус 8 г. Клиент: утишена в минус 7 г. (родители, лихорадка). Утешитель: не записан (до Акта, экстренный порядок).* И всё. Одно утишение, тридцать пять лет назад, когда ей был год. Ровно то, чего она ожидала. Ровно то, что ей всегда говорили.

Джунипер не было.

Она проверила букву «Д» — на случай, если карточку поставили не туда. Проверила указатель умерших, который хранился отдельно, в собственном шкафу, с карточками в

чёрной кайме. Джунипер Кэллоуэй там не было, и не было ни одной Джунипер с любой другой фамилией, которой в последние десять лет хоть когда-нибудь было шесть лет. Умерших детей в указателе было очень много. Она не знала, что их так много. Она читала карточки одну за другой, все имена подряд, пока не защипало глаза и пока не поняла, что ищет уже не Джунипер, а просто читает, — и тогда закрыла ящик.

Ничего. Никаких записей. Прежние жильцы, или ошибка, или чья-то шутка. Ничего.

Она пошла обратно вверх. На третьей ступеньке от верха остановилась и встала, держась за перила, потому что что-то вспомнила — или не вспомнила, а нащупала край, как нащупываешь ногой край ступеньки в темноте.

Карточки в чёрной кайме стояли по алфавиту. Карточки клиентов тоже стояли по алфавиту. И в ящике «К», между *Кэллоуэй*, *Марджерии Кэллоуэй*, *Рен*, был промежуток.

Ничего такого явного, как недостающая карточка. Только чуть ослабшая пружина, которая держала карточки стоймя, — будто их там когда-то было больше, две или три, и их вынули, а пружина так до конца и не сомкнулась.

Ерунда. Пружины слабнут.

* * *

Тобиас Уэнд играл в шахматы в обеденный перерыв, у себя в кабинете на верхнем этаже, с любым, кто соглашался, а

поскольку большинство сотрудников Дома его побаивались, соглашалась обычно Рен.

Он был директором Дома уже одиннадцать лет. До того был Утешителем, одним из первых, — учился во втором году, в переделанном школьном классе с заколоченными окнами, потому что в окна бросали камни. Ему был шестьдесят один год: высокий, сутулый, с длинным серьёзным лицом, как у лошади на картине, и тихим голосом, который он никогда не повышал. Чай он пил чёрный, а в шахматы играл медленно. Когда Рен пришла в Дом, собеседование проводил он, а в конце спросил, играет ли она, и когда она сказала, что нет, сказал: «Хорошо. Я вас научу. Тогда у меня всегда будет кого обыгрывать».

Обыгрывал он её не всегда. В последнее время — нечасто. — Вы рассеянны, — сказал он сегодня, минут через двадцать, забирая её слона.

— Я думаю.

— Вы рассеянны. Это не одно и то же. Если бы вы думали, вы бы это заметили. — Он поставил слона рядом с доской, к другим погибшим. — Ваш вчерашний сеанс с Прайс был очень чистым. Я смотрел след. Очень изящная работа на поздних ветвях.

— Спасибо.

— В её анкете сказано, что она уже через это проходила. С отцом, в детстве. Не утишена, но присутствовала. — Он двинул пешку. — Это всплывало?

— Да. Она сказала, что помнит его. Отца. Что так и не забыла.

— Хм. — Тобиас смотрел на доску. — Тяжело это. Быть тем, у кого оно остаётся на руках.

— Наверное.

— Поэтому Акт и исправили. В девятом году. Насчёт детей. — Он постучал длинным пальцем по краю доски. — До этого мы считали, что они забывают сами. Что детский ум просто отпускает. Не отпускает. Держит. Дети держат всё. — Он поднял на неё глаза. — Вы это знаете. Это было в программе.

— Знаю. — Она пошла конём. — Тобиас. Можно спросить?

— Спросить можно.

— Вы когда-нибудь искали в картотеке себя?

Он ответил не сразу. Взял её коня, которого она оставила без защиты, сама того не желая, и подержал, поворачивая в пальцах, прежде чем поставить.

— Я знаю, что про меня в картотеке, — сказал он. — Кое-что я сам туда и написал.

— По Статье девятой.

— По Статье девятой. — Тобиас пользовался изъятием, как все старшие чины Министерства. Хранители, называли их газеты. Те, кто держит память города, чтобы городу не пришлось её держать. Жена Тобиаса умерла десять лет назад, и по ней его не утишали. Рен знала это, потому что на

книжной полке за его столом, в простой чёрной рамке, стояла фотография женщины — светлые волосы, раздуваемые ветром на каком-то ветреном пляже, через лицо, и смех. Не считая его собственного дома, это была единственная фотография умершего человека, которую Рен когда-либо видела. Заметив её в первый раз, она смотрела на неё, пока Тобиас тихо не сказал: *Это Мириам. Моя жена*, — и тогда почувствовала что-то, чему не знала названия. Жалость, решила она тогда. Как тяжело, должно быть, это нести.

— Почему вы спрашиваете? — сказал он.

— Просто так. Я утром была внизу, проверяла клиентку. Просто стало интересно.

— Что именно?

— Каково это. Увидеть своё имя.

— Это, — сказал Тобиас, — всё равно что читать о ком-то другом. — Он выдвинул ферзя на три клетки и откинулся на спинку. — Шах.

Она посмотрела на доску. Она давно проиграла, поняла она. И не заметила.

— Можете сдать, — мягко сказал он. — В этом нет ничего постыдного.

Она опрокинула короля одним пальцем. Он откатился и остановился у края доски.

— Рен. — Он смотрел на неё своим серьёзным, терпеливым лицом. — Что-то случилось?

Рисунок лежал во внутреннем кармане. Она чувствовала

его — маленький твёрдый квадрат у рёбер. Можно его достать. Развернуть на столе среди шахматных фигур и сказать: *Я нашла это у себя в квартире, за батареей,* — и он посмотрит и скажет что-нибудь разумное, что-нибудь своим тихим низким голосом, отчего всё снова станет маленьким. *Прежние жильцы. Вы же знаете эти старые дома.* Именно это он и скажет. И, наверное, заберёт рисунок и отправит вниз, в Зачистку, потому что туда отправлялись найденные вещи — вещи людей, которых больше не существовало.

— Нет, — сказала она. — Ничего. Я устала.

— Идите домой пораньше.

— У меня сеанс в два.

— Тогда идите домой после двух. — Он начал расставлять фигуры, как всегда начиная с белых. — И, Рен. Примите сегодня капли. У вас вид, будто вы увидели привидение.

* * *

После двух домой она не пошла. Она пошла бродить.

К школе она идти не решала. Просто оказалась перед ней в четыре часа дня, на другой стороне улицы. Начальная школа на Белл-лейн, в трёх кварталах от её дома: приземистое красное здание с двором за чугунной оградой и крашеной вывеской над воротами: НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА СЕДЬМОГО ОКРУГА, ОСН. В 3 Г. Должно быть, она проходила мимо тысячу раз. Ни разу не посмотрела.

Звенел звонок. Дети высыпали из дверей разом — огромный бесформенный шум из ранцев и шарфов — и растеклись по двору к воротам, где ждали матери.

Рен стояла на другом тротуаре и смотрела, как они идут.

Она ждала, поняла она, что что-нибудь случится. Что кто-то из детей остановится и посмотрит на неё. Что кто-то из матерей назовёт её по имени. Того чувства, что было вчера вечером на мосту, — ощущения очертаний, тепла, оставшегося в кресле. Она стояла неподвижно, пропускала детей мимо по той стороне улицы, ждала — и ничего не приходило.

Нет. Это неправда. Кое-что пришло. Пришло из такой глубины и так слабо, что сначала она приняла это за голод или холод. Что-то вроде тяги, низко в груди, под грудиной. Так, подумала она, должна чувствовать себя стрелка компаса, если бы стрелки умели чувствовать. Ни картинки, ни имени — только направление.

Она знала, что это. Она описывала это тысяче клиентов. *Что-то вроде пустого места. Там, где что-то было.*

Это была пустота.

Раньше у неё никогда такого не было. Вернее, поправила она себя, стоя с руками глубоко в карманах и с колотящимся сердцем, она никогда такого не замечала. Она всегда считала, что пустота на месте родителей слишком старая и слишком глубокая, чтобы её чувствовать. Она была младенцем. Нельзя скучать по тому, чего никогда не знал.

Но это было не старое. Это было здесь, сейчас, у этих во-

рот, в четыре часа, и это тянуло её через дорогу.

Она не пошла. Стояла и смотрела, пока не ушёл последний ребёнок, пока двор не опустел и сторож в коричневом пальто не вышел с ключом запереть ворота. Он увидел её и коснулся кепки, а потом, выпрямляясь, посмотрел на неё по-настоящему — и что-то пробежало по его лицу.

Только на секунду. Маленькое невольное движение вокруг глаз. Такое лицо бывает у человека, который увидел кого-то знакомого не в том месте, собрался поздороваться и вдруг засомневался.

Потом это прошло, и он снова был просто старик в коричневом пальто, глядящий на незнакомку у школы. Он отвернулся и пошёл обратно через двор.

— Подождите, — сказала Рен. Голос вышел слишком тихим. Он не услышал — или сделал вид. Дверь школы закрылась за ним.

* * *

По дороге домой она прошла мимо игрушечной лавки на углу Тэллоу-стрит — мимо которой, должно быть, тоже проходила тысячу раз. «Старый Пелл», так она называлась, хотя никакого Пелла давно не было. В эркерном окне на фетровом холме стояли деревянные звери, и среди них ходил по кругу жестяной поезд на заводном моторе, который кто-то должен был подзаводить каждый час.

Поезд ходил. Она остановилась посмотреть, как все оставались.

В глубине витрины, полуспрятанный за деревянной коровой, сидел кролик. Мягкий, сшитый из серой фланели, с длинными ушами, свисающими по обе стороны мордочки, и двумя чёрными пуговицами вместо глаз. На шее у него на верёвочной петле висел ценник.

Рен стояла у окна, смотрела на кролика — и пустота в груди распахнулась так внезапно и так широко, что она упёрлась ладонью в холодное стекло, чтобы не упасть.

Это длилось лишь мгновение. Потом снова сомкнулось, и она была просто женщиной, стоящей в сумерках у игрушечной лавки с ладонью на витрине, а девушка за прилавком странно на неё смотрела.

Она убрала руку со стекла. Остался отпечаток — пять пальцев и ладонь, — запотел и растаял. Поперёк ладони в отпечатке шла линия, едва заметная, где кожа не касалась стекла: шрам, от основания указательного пальца до основания ладони, белый, тонкий и старый. Она никогда не знала, откуда он. У неё было смутное ощущение, что он был всегда, — так считаешь, что с родинкой родился, — и ей ни разу не пришлось в голову спросить.

Она посмотрела на шрам. Посмотрела на кролика.

Потом пошла домой, поднялась по лестнице мимо пуговичной лавки, вошла в 4Б, встала в тёмной комнате под тиканье батареи и сказала вслух, никому, комнате:

— Кто ты?

Батарейка тикала. Где-то внизу радио начало позывные «Вечернего утешения».

Она достала рисунок из кармана, развернула и посмотрела на самую высокую фигуру с длинными каштановыми волосами и в сером треугольнике. На маленькую рядом, которая держала её за руку. Руки были нарисованы двумя круглыми петлями, соединёнными, как восьмёрка.

Мама я и Пип.

— Кто я? — сказала Рен Кэллоуэй, и впервые в жизни не знала ответа.

Глава третья.

Женщина в приёмной

Имена появились за ночь, на стене трамвайного павильона на углу Веспер-Роу.

Рен увидела их по дороге на работу. Перед павильоном стояла небольшая толпа, человек восемь-десять, неровным полукругом — так стоят вокруг происшествия, не желая смотреть и не в силах уйти. Двое в тёмно-синих шинелях Управления Преемственности были уже на месте: один держал ведро. Второй что-то писал в блокноте.

Имена были написаны белым мелом, столбцом, от верха стены павильона почти до тротуара. Почерк мелкий, аккуратный. Замедлив шаг, Рен оказалась достаточно близко, чтобы прочесть некоторые.

Анна Кесслер. Томас Брак. Ильза Брак. Михай Дорн. Розалинд Ачебе. Питер Ванн. Клара Финч.

Наверху, крупнее, заглавными буквами, кто-то написал: **НАЗОВИТЕ ИХ ИМЕНА.**

Человек с ведром плеснул. Вода плоско шлёпнула о стену и потекла вниз, и мел потёк вместе с ней — белые струйки побежали на тротуар и разошлись молочными лужами под ногами у людей. Люди отступили. Кто-то издал звук, не совсем слово.

— Проходите, пожалуйста, — сказал человек с блокнотом. Голоса он не повышал. — Ничего интересного. Проходите.

Рен прошла. Обернулась один раз, с угла. Человек с ведром ушёл к колонке на площади за новой водой, стена превратилась в серое мокрое месиво, но в самом низу, куда вода не достала, остались два имени, нетронутые, мелким аккуратным мелом.

Отсюда ей было их не прочесть. Она не вернулась.

* * *

— Помнящие, — сказала Петра в архиве тем голосом, каким люди произносили это слово, — приглушённым, будто в нём было что-то слегка неприличное. — Третий раз за месяц. В воскресенье исписали мост. Списки, списки. Через весь парапет.

— А кто они? — спросил один из младших Утешителей, мальчик по имени Аурел Мотт, который пришёл на прошлой неделе и до сих пор носил учебное пособие повсюду, как молитвенник.

— Никто не знает. Смутьяны. Люди, которые отказались от Утешения и тронулись на этом. Мама говорит, это в основном старики, те, кто был взрослым до Акта и так и не оправился. — Петра понизила голос ещё больше. — Говорят, они живут под землёй. В старых трамвайных туннелях.

Говорят, у них есть книга, где записано каждое имя, каждый, по кому когда-либо утишали, — чтобы однажды всё вернуть.

— Что вернуть?

— Всё. — Петра поёжилась и сама над собой засмеялась.

— Всё целиком. Всю Долгую Скорбь. Представляешь? Весь город вспомнит всех, кого когда-либо потерял, одновременно. Это будет как лихорадка заново. Река будет полна.

— Какой ужас, — сказал Аурел Мотт.

— Безумие, — сказала Петра. — На то и есть Преемственность. — Она посмотрела на Рен. — Правда?

Рен читала утренние извещения. Первое она прочла трижды, не поняв ни слова.

— Да, — сказала она. — На то они и есть.

Клара Финч. Она видела это имя на стене. Она опустила глаза на извещение в руке. *Умершая: Клара Роуз Финч. Возраст: семьдесят три года. Причина: сердечная недостаточность. Ближайшие родственники: Олдос Финч (муж). Запрос: полное утишение.*

Её клиент на десять.

* * *

Управление Преемственности прибыло в половине десятого в лице одного-единственного человека.

Он вошёл через парадную дверь Дома, остановился в вестибюле и снял шляпу. Привратник, старый Беннинг, кото-

рый служил в Доме ещё до Рен и умел дать любому входящему почувствовать, что тот ошибся адресом, привстал со своего табурета за стойкой, сел обратно и не сказал ни слова. По этому Рен и поняла, кто это, прежде чем поняла, кто это.

Она шла через вестибюль со стопкой папок. Увидела его и продолжала идти — так и следовало. Она была уже почти у лестницы, когда он сказал:

— Простите.

Она остановилась.

— Я ищу кабинет директора. — Голос у него был тихий, чуть сиплый, словно он недавно болел или много разговаривал на холоде. Лет сорока пяти, среднего роста, с коротко стриженными седыми волосами и лицом ни красивым, ни некрасивым, но чрезвычайно неподвижным. Шинель того же тёмно-синего цвета, что у людей у павильона, только лучше скроенная, а на лацкане маленький серебряный значок: закрытый глаз. — Уэнд, кажется. Тобиас Уэнд.

— Верхний этаж, — сказала Рен. — Я поднимаюсь. Могу проводить.

— Очень любезно.

Они поднимались вместе. Она ощущала его рядом, как ощущаешь в комнате затопленную печь. Он молчал, и она молчала, пока они не дошли до второй площадки, где он остановился посмотреть в окно, выходящее на площадь и павильон. Стена уже высохла. Её отмыли. Она была чистой и серой.

— Вы Утешительница, — сказал он.

— Да.

— Давно?

— Три года.

— Вам нравится?

Никто никогда не задавал ей этого вопроса.

— Да, — сказала она. — Очень.

— Хорошо. — Он всё смотрел в окно. — Это важная работа. По-моему, люди об этом забывают. Те, кто пишет мелом. Им кажется, что они что-то защищают. Любовь, наверное, или память, или как они это называют. А на самом деле они стоят на берегу и кричат людям, чтобы прыгали обратно. — Он повернулся к ней. Глаза у него были очень светло-серые, почти бесцветные, как свет зимним утром. — Простите. Я не знаю, как вас зовут.

— Кэллоуэй. Рен Кэллоуэй.

Что-то произошло с его лицом. Почти ничего — проблеск, как движение рыбы в глубине пруда: видишь, что вода шевельнулась, и не уверен, что видел хоть что-то. Потом он улыбнулся. Вежливой улыбкой, публичной, которая никуда не доходила.

— Сайлас Рук, — сказал он. — Инспектор. Управление Преемственности. — Руки он не подал. — Кэллоуэй. Это ведь фамилия из Седьмого округа? Вчера, когда я смотрел картотеку, там были Кэллоуэй.

— Фамилия довольно распространённая.

— Да, — согласился Рук. — Вполне распространённая.

На верхнем этаже она показала ему дверь Тобиаса, он поблагодарил, постучал и вошёл, а она постояла в коридоре, прижимая папки к груди, с сердцем, бьющимся тяжело и медленно, и пошла вниз.

Проходя мимо окна на площадке, она увидела, что ошиблась насчёт стены павильона. Она была не совсем чистой. В самом низу, над тротуаром, куда не достала щётка, ещё оставалось бледное белое пятно. Два имени — или их призрак.

* * *

Олдос Финч был женат пятьдесят один год.

Крупный мужчина, обмякший и замедлившийся с возрастом, с огромными ладонями, которые лежали у него на коленях, как две уставшие собаки. Он был печатником, рассказал он Рен, пока не ослабли глаза. Тридцать лет набирал «Халламский курьер». С Кларой познакомился на танцах в приходском зале в минус двадцать третьем году, когда только начиналась война, а в понедельник утром она умерла на кухне, готовя ему завтрак; он нашёл её на полу, когда спустился, а чайник всё ещё кипел.

— Пятьдесят один год, — сказал он. — А теперь она на стене.

Рен как раз надевала Венец. Она остановилась.

— Простите?

— На стене. Видел утром, когда шёл сюда. Её имя, на трамвайной остановке. *Клара Финч*. Кто-то написал мелом.

— Он не выглядел расстроенным. Он выглядел озадаченным, мягко и удивлённо, как человек, нашедший на улице монету из страны, где никогда не был. — Откуда им знать? Я никому не говорил. Только в Доме.

— Не знаю, мистер Финч.

— Думаете, кто-то отсюда им сказал?

— Нет, — сказала она. — Нет, уверена, что нет.

— Чудно было — видеть, как оно там написано. Среди других. Я постоял, посмотрел. — Он поднял руку, она не успела остановить, и потрогал серебряную сетку у себя на голове. — Думал, может, стереть. Не стёр. А потом пришли эти, с водой.

— Мистер Финч. Вы готовы начать?

Он долго смотрел на неё. Глаза у него были выцветшие, голубые, мутноватые по краям.

— Можно попросить вас об одолжении? — сказал он.

Она знала, о чём он попросит. Иногда просили. Нечасто, может, один из пятидесяти. Те, кто приходил спокойным и сговорчивым и просил сделать побыстрее, а потом, в самом конце, на пороге, оборачивался.

— Можно мне оставить одну вещь, — сказал Олдос Финч.

— Только одну. Немножко. Я не про всё. Я знаю, что всё нельзя, знаю, что это делает с людьми, я застал, я помню Скорбь. Мать. Знаю. Но хоть одну вещь. — Его большие ла-

дони перевернулись на коленях кверху. — Танцы. Приходской зал. Только тот первый раз, когда я её увидел. На ней было зелёное платье. Только это.

— Мистер Финч...

— Я не буду знать, кто она. Пусть. Не буду знать, что это моя жена. Будет просто девушка в зелёном платье, танцует, которую я видел однажды давным-давно. Кому это навредит? Девушка в зелёном платье?

Рен посмотрела на него, на Венец у него на голове, на пустое серое поле планшета на столе рядом.

Это правило учили первым, из него вырастали все остальные. *Утишение либо целое, либо его нет.* Частичная печать неустойчива. Воспоминание, оставленное открытым рядом с запечатанным, тянет его, расшатывает края, как ребёнок шатает молочный зуб, пока печать не ослабнет и не лопнет. А лопнувшая печать хуже, гораздо хуже, чем никакой. На учёбе им показывали случаи из практики. Фотографии. Неделю после этого она не спала.

— Простите, — сказала она. — Нельзя. Так это не работает. Если я оставляю её хоть где-то, всё остальное вернётся за этим.

Он медленно кивнул, будто того и ждал.

— Это как оставить дверь открытой, — сказала Рен. — Зимой. Вам никогда не будет тепло.

— Лучше уж мёрзнуть, — сказал Олдос Финч. Потом покачал головой, и сетка блеснула. — Нет. Нет. Вы правы.

Знаю, что правы. Простите, милая. Просто под конец тяжело.

— Под конец всегда тяжело.

— Ну, давайте. — Он закрыл глаза. — Клара Роуз Финч. Худшая кухарка в Седьмом округе.

Они проговорили час. Когда карта была готова, она оказалась самой большой из всех, что Рен видела: такой плотной от света, что планшет будто гудел под пальцами, — пятьдесят один год женщины, каждая ветвь тяжёлая, каждый корень глубоко. У края, чуть в стороне от остального, где всегда собираются самые старые воспоминания, был маленький яркий узелок света, и когда она его коснулась, планшет выдал подпись, бледную и серую: *приходской зал, танцы, зелёное.*

Сначала она запечатала внешние ветви. Потом глубже. Работала дольше обычного и медленнее, а когда дошла до маленького яркого узелка у края — девушки в зелёном платье, — палец её замер над планшетом.

Только на мгновение. Один удар сердца. Два.

Палец висел над стеклом, и казалось, что он принадлежит кому-то другому, кто знает то, чего не знает она, и этот кто-то говорил: *Ты можешь. Ты умеешь. Это нетрудно. Оставляешь корень, запечатываешь ветку. Подгибаешь край, чтобы печать не почувствовала. Ты уже так делала.*

Никогда она так не делала.

Она запечатала узелок. Зелёное платье стало серым и тём-

ным. Последним она запечатала имя, *Клара*, как всегда, и Олдос Финч вздохнул, его огромная мягкая голова склонилась набок, и он уснул.

Она посидела с ним, считая до ста. На шестидесяти обнаружила, что у неё дрожат руки, положила их плашмя на колени и прижала, пока не перестали.

Ты уже так делала.

Никогда она так не делала. Она даже не слышала, чтобы кто-то так делал. Мысли, что печать можно подогнуть, что корень можно оставить живым под мёртвой веткой, не было ни в одном наставлении, которое она читала. И всё же она видела в точности, как это сделать. Видела так же ясно, как рисунок, сложенный у неё во внутреннем кармане: подогнутый край печати и маленький огонёк, который всё горит, спрятанный в темноте.

Её руки знали как.

* * *

Когда она вышла из четвёртой комнаты, был почти полдень. Приёмная на первом этаже, как обычно к середине дня, была полна: десяток человек на жёстких скамьях вдоль стены, с извещениями на коленях, не разговаривая и не глядя друг на друга. Медсестра обходила их с подносом стаканов с водой.

Рен пересекала комнату по пути в архив, и когда она про-

ходила мимо конца последней скамьи, одна женщина подняла на неё глаза.

Лет шестидесяти, может, чуть больше, маленькая и плотная, в коричневом пальто с заплатами из коричневого потемнее на обоих локтях. Седые волосы убраны под вязаный платок. Как и у всех, у неё на коленях лежало извещение, но держала она его не так, как другие. Она держала его, как держат билет на поезд, на который не собираются садиться.

Она смотрела на Рен. Незнакомые люди смотрят мельком и отводят глаза; эта женщина смотрела на неё так, как смотрел сторож у школы — в ту единственную секунду, пока не спохватился. Только она не спохватывалась. Она просто продолжала смотреть. Глаза у неё были очень яркие и очень мокрые.

Рен остановилась. Она не собиралась. Ноги просто остановились.

Женщина встала. Медленно, опираясь рукой о скамью, — так встают, когда болят колени. Подошла близко. Ближе, чем стояли знакомые люди в Доме. Так близко, что Рен почувствовала её запах: мыло, шерсть и слабый, под ними, тёплый мучной запах, как от хлеба.

— Ох, милая, — прошептала женщина. — Ох, ты посмотри на себя. Ты ведь меня не узнаёшь.

— Простите, — сказала Рен. — У вас сеанс? Если дадите извещение, я узнаю, кто...

— Ты мама Джун, — сказала женщина.

Комната отъехала очень далеко. Скамьи, люди на них, медсестра с подносом стаканов — всё отъезжало и отъезжало, как вниз по длинному туннелю, пока на свете не осталось ничего, кроме лица женщины, близкого, с мокрыми глазами, и запаха хлеба.

— Что вы сказали?

Женщина глянула мимо неё. Рен повернула голову. В дальнем конце приёмной, в дверях вестибюля, стоял инспектор Рук со шляпой в руке и разговаривал со старым Бенningом за стойкой. Спиной к ним.

Когда она повернулась обратно, женщина что-то вложила ей в ладонь.

Маленькое, круглое, холодное. Жетон — такие опускают в щель стиральной машины в общественной прачечной. Латунный, стёртый до гладкости, с номером на одной стороне и названием на другой: СИНДЕР-ЛЕЙН.

— Сегодня, — выдохнула женщина. — После позывных. Я буду там до десяти.

И она ушла, быстро, на своих больных коленях, не к вестибюлю, а в другую сторону, к боковой двери во двор, куда приезжали угольные телеги, а извещение, которое она держала, осталось лежать на скамье. Рен смотрела ей вслед. Не побежала за ней. Не окликнула. Ладонь она сжала вокруг латунного жетона так сильно, что почувствовала, как его край врежется в старый белый шрам.

В дальнем конце приёмной инспектор Рук закончил раз-

говор с Беннингом и надел шляпу. Поворачиваясь к двери, он провёл светлыми глазами по комнате — по скамьям, по людям на них, по медсестре и пустому месту, где только что была женщина в коричневом пальто, — и задержал взгляд, всего на мгновение, на Рен.

Он приветливо кивнул ей, как кивают знакомому. Потом вышел.

Рен подошла к скамье, где сидела женщина, подняла брошенное извещение и посмотрела на него.

Оно было пустым: ни имени, ни даты, ни причины. Его взяли из стопки чистых бланков у двери, принесли и сколько-то часов продержали на коленях — для вида, чтобы женщина в залатанном коричневом пальто могла сидеть в приёмной Дома Утешения Седьмого округа и ждать, когда мимо пройдёт кто-то, кого она когда-то знала.

Рен сложила пустое извещение и убрала в карман, к рисунку. Две бумажки лежали там вместе, у рёбер, и весь день, на двух следующих сеансах, на совещании о хозяйственных расходах и за чашкой чая с Петрой, которую она потом не могла вспомнить, Рен чувствовала их — рисунок и пустой лист, полный и пустой, как две половинки чего-то разорванного.

Глава четвёртая. Хестер

Общественная прачечная на Синдер-лейн была длинным кафельным залом под железнодорожной аркой, освещённым четырьмя газовыми рожками и затянутым паром. Вдоль одной стены стояли двадцать машин — большие медные барабаны с иллюминаторами из толстого зеленоватого стекла, — вдоль другой ряд катков для белья, а посередине деревянная скамья, где сидели и ждали. Пахло щёлоком, мокрой шерстью и горячим металлом. Каждые несколько минут сверху проходил поезд, весь зал дрожал, и иллюминаторы дребезжали в рамах.

В половине восьмого там было всего трое. Молодой человек с газетой о скачках. Девушка лет пятнадцати, яростно сосредоточенная, складывала простыни и шевелила губами, считая. И в дальнем конце, у последней машины, — женщина в коричневом пальто: она сидела очень прямо, с корзиной белья на коленях, и смотрела на дверь.

Увидев Рен, она не встала. Подняла руку, едва заметно, опустила её снова на корзину и отвернулась к иллюминатору машины перед собой, где в серой воде кругами ходили чьи-то рубашки.

Рен села рядом. Не слишком близко. Так, как садилась с клиентами.

— Брось жетон, — пробормотала женщина, не глядя на

неё. — Двадцатая. Она пустая. Нужно же тебе зачем-то тут быть.

Рен посмотрела на латунный жетон в ладони. Двадцать. Она встала, опустила его в щель последней машины, и барабан закрутился, пустой. Она снова села. Женщина почти улыбнулась.

— Врать ты всегда была мастерица никудышная, — сказала она. — Ни одной истории придумать не могла. Дэниел говорил, что на войне от тебя проку бы не было.

— Кто такой Дэниел?

Женщина закрыла глаза.

Открыв их, она, кажется, на что-то решилась. Поставила корзину на скамью рядом, наконец повернулась к Рен лицом, и Рен увидела, что она старше, чем показалось, гораздо старше, морщины вокруг рта и глаз глубокие, как прорезанные, и что она недавно плакала и умылась, чтобы скрыть это, и у неё не получилось.

— Меня зовут Хестер Лоу, — сказала женщина. — Семь лет я жила через площадку от тебя. Квартира 4А. Ты, поди, каждый день проходишь мимо моей двери и ни разу не задумалась, кто за ней. Не переживай. Никто не задумывается. После меня туда поселили семью из Девятого округа. Люди как люди. Я смотрела на них с улицы. — Она перевела дух. — По воскресеньям я пекла. На лестнице пахло. Джун стучалась, в половине одиннадцатого каждое воскресенье, как часы: *Миссис Лоу, миссис Лоу, уже готово?* Пер-

вый раз ей было четыре. Пять. Шесть. — Губы у неё задрожали, и она сжала их. — Она звала меня Хесси. Не могла выговорить «Хестер». И потом, когда уже могла, всё равно звала, из упрямства.

Машина перед ними крутилась и крутилась.

— Я не понимаю, о чём вы, — сказала Рен. Её голос звучал очень издали и очень спокойно — голос, которым она говорила на пороге. — Я не знаю никакой Джун. У меня никогда не было ребёнка. Я никогда не была замужем. Я девять лет живу в этой квартире одна.

— Да, — сказала Хестер Лоу. — Так тебе и сказали.

— Есть записи...

— Записи бывают всякие. — Хестер смотрела на неё с каким-то страшным терпением. — Ты там работаешь. Знаешь, что они умеют. Целый дом ложится спать, когда в соседней комнате мёртвый мальчик, а просыпается, и там просто кладовка для зимних одеял. Ты это знаешь. Ты сама это делаешь.

Рен не ответила.

— Расскажу тебе, как было, — сказала Хестер. — А потом решай, сумасшедшая я старуха или нет. Ладно?

* * *

— Дэниел Кэллоуэй, — сказала Хестер, — был газетчик. Когда ты с ним познакомилась, писал для «Курьера». Судеб-

ная хроника, в основном, дознания, скучный конец работы. А потом перестал писать для «Курьера» и начал для чего-то другого. Мне не говорил. Я не спрашивала. Не спрашивают ведь, правда? Но я видела его на лестнице в два часа ночи с чернилами на пальцах и знала, что набирал он не «Курьер». — Она глянула на молодого человека с газетой и понизила голос. — «Гроссбух». Так это называлось. Ты, поди, и не слышала. Листок. Печатали в каком-то подвале, передавали из рук в руки. Там кое-что писали. Имена в основном. Печатали имена тех, кого объявили, чтобы кто-нибудь знал.

— Объявили?

Хестер резко на неё посмотрела.

— Ты этого слова не знаешь?

— Знаю, что оно значит. Это когда человека признают умершим. Когда он пропал и тела нет. Через какое-то время его объявляют — ради бумаг, чтобы семью можно было утешить. — Рен слышала, что отвечает как по учебнику. — Это очень редко бывает.

— Очень редко бывает, — ровно повторила Хестер. — Да. Не сомневаюсь.

Сверху прошёл поезд. Зал задрожал. В иллюминаторах плеснула серая вода.

— Он хороший был человек, — сказала Хестер, когда грохот стих. — Твой Дэниел. Высокий. Хохотал громко. Петь не умел, но пел всё равно, громко, в ванной, весь дом слышал. Он тебя смешил. Ты была серьёзная девочка, когда въехала,

ты тогда тоже была Утешительницей, ты знала? Была. Работала в Доме в Четвёртом округе. А он тебя смешил, а потом ты за него вышла, а потом у вас появилась Джун, и ты ушла из Дома. В двадцать втором году это было. Ей было три. Ты ушла с работы, сильно похудела, стала тихая, и вы оба уходили по ночам, а я сидела с Джун. — Она помолчала. — Про это я тоже не спрашивала.

— Я вам не верю, — сказала Рен.

— Нет, — согласилась Хестер. — С чего бы.

— Если бы это была правда. Если бы был ребёнок. Муж. Если бы они существовали и с ними что-то случилось, было бы извещение. Была бы карточка в картотеке. Утишение. Я смотрела. Там ничего нет.

— И не будет, — сказала Хестер. — Не для объявленных.

— Я же говорю, это очень...

— Три года назад, — сказала Хестер Лоу, и голос у неё стал низким и жёстким, голосом человека, который давит на синяк, чтобы показать, что он есть. — Четырнадцатого студня двадцать пятого года. Половина второго ночи. Днём мне стало плохо, сердце, меня отправили в лечебницу на Гонт-стрит на две ночи под наблюдение. Поэтому меня там не было. Только поэтому я тут сижу. Меня не было в доме. Мне рассказал Тэм Радд. Он тогда зажигал фонари на Тэллоу-стрит и стоял на лестнице в конце улицы, когда подъезжали телеги. Рассказал мне через неделю в «Перьях», после четырёх пинт, а потом взял с меня клятву, что я никогда

не скажу, от кого слышала. Четыре телеги, сказал он. Синие шинели. Сначала забрали Дэниела, вниз по лестнице, в ночной рубашке. Потом забрали Джун.

— Хватит, — сказала Рен.

— Она кричала, — сказала Хестер. — Тэм говорил, было слышно с улицы. Звала тебя. А ты звала её, там, на площадке. Ты встала в дверях квартиры, вцепилась в косяк, и они не могли тебя сдвинуть. Он слышал, как что-то разбилось. Банка какая-то, ты, наверное, бросила. Когда я вернулась, на косяке ещё была кровь.

Рен посмотрела на свою левую руку, лежавшую раскрытой на колене, и на тонкую белую линию поперёк ладони.

— Потом свели тебя, — сказала Хестер. — Последней, с рукой, обмотанной полотенцем. А когда я на следующий день вернулась из лечебницы, всё уже было кончено. Сделали весь дом. Каждую квартиру. Миссис Огилви. Пруэттов. Старика Саллиса на первом этаже, до пуговичной лавки. Всех, одного за другим, ночью, в собственных постелях. Маленькие сеансы. Очень быстрые. Я поднимаюсь по лестнице с сумкой из лечебницы, а на площадке человек из Зачистки закрашивает косяк у 4Б. И миссис Пруэтт выходит из своей квартиры с корзинкой и говорит: *Ой, здравствуйте, миссис Лоу, вы уезжали?* — а я говорю: *Где Джун?* — а она говорит: *Какая Джун?*

Хестер замолчала. Прижала ладонь ко рту и подержала так. Когда она убрала руку, голос стал ровнее.

— Меня пропустили, — сказала она. — Потому что меня не было в доме. Какой-то писарь поставил галочку. В каком-то списке меня не было или записали не в ту квартиру, не знаю. Пропустили. А я стояла на площадке, смотрела, как этот человек красит твою дверь, и думала: Хестер Лоу, если откроешь рот, они за тобой вернутся. И не открыла. Зашла к себе, закрыла дверь и не сказала ни слова. Никому. Три года.

— А я? — сказала Рен. Губы онемели. — Что было со мной?

— Ты вернулась через неделю, — сказала Хестер. — В четверг. Я услышала тебя на лестнице. Приоткрыла дверь. А ты поднимаешься с авоськой, в сером пальто. Пальто Утешительницы. Увидела, что я смотрю, вежливо улыбнулась, будто я никто, сказала *добрый вечер*, вошла в 4Б, и я услышала, как ты включила радио. — Она медленно покачала головой. — Через месяц я съехала. Не могла. Слышать тебя через стенку. Слышать, что у тебя всё хорошо.

Машина перед Рен закончила. Барабан замедлился, сделал ещё два оборота и встал. Серая вода внутри лежала совершенно неподвижно.

— Это невозможно, — сказала Рен.

— Да?

— Так не делают. Не переводят обратно. Утешительницу нельзя утишить по собственной семье и отправить обратно на работу. Кто-нибудь бы узнал. Кто-нибудь в Доме...

— Кто-нибудь и знал, — сказала Хестер. — Кто-нибудь

подписал твои бумаги. Кто-нибудь дал тебе место. — Она наклонилась ближе. — Не понимаешь? Это самое хитрое, что они придумали. Посадить тебя обратно в Дом, на это самое дело. Начни ты вспоминать — куда пойдёшь? Кому скажешь? Им и скажешь. Придёшь прямиком в Дом, сядешь в одну из этих комнат и скажешь: *Пожалуйста, у меня пусто-та, она болит, сделайте, чтобы прошло.* И сделают.

* * *

Рен долго ничего не говорила. Девушка с простынями закончила и ушла, уперев корзину в бедро. Молодой человек перевернул страницу своей газеты и перевернул обратно. Над ними раз за разом проходили поезда.

— Почему сейчас? — наконец сказала Рен. — Если вы три года молчали. Почему сегодня пришли в Дом?

Хестер помолчала. Потом сунула руку в карман коричневого пальто, что-то достала и протянула на раскрытой ладони.

Это была лента. Детская лента для волос, красный атлас, обтрёпанный с обоих концов и так выцветший на сгибах, что стал почти розовым.

— Она оставила её у меня в последнее воскресенье, — сказала Хестер. — Всегда их снимала. Терпеть не могла, когда что-то в волосах. Придёт за булочкой, выдернет ленту, оставит на кухонном столе, а ты придёшь её забрать и ска-

жешь: *Джун, лента*, — а она: *Хесси её хранит*. Вот я и хранила. — Она посмотрела на ленту. — Больше у меня ничего нет. Её не догадались зачистить, потому что она была у меня в квартире, а не у тебя. Три года пролежала в жестянке из-под чая на полке. А на прошлой неделе пришли из Министерства. Обычная проверка, сказали. Перепись. У них был список, и на этот раз я там была, по правильному адресу. Хестер Лоу, бывшая 4А, Тэллоу-стрит, 19. — Она сомкнула пальцы на ленте. — Они знают, что меня пропустили. Вернутся. Через неделю. Может, через две. И тогда не останется никого, кто её помнит.

— И вы пришли меня найти.

— Я пришла отдать тебе это, — сказала Хестер, взяла левую руку Рен, ту, что со шрамом, своей тёплой, в муке, рукой, повернула её ладонью вверх и положила ленту поперёк, поперёк старой белой линии. — Пришла, потому что кто-то должен знать, когда меня не станет. Кто-то должен знать, что она была. Что была маленькая девочка по имени Джунипер, которая любила булочки, терпеть не могла ленты и везде таскала с собой кролика по имени Пип, и у неё была мама, которая так её любила, что изрезала себе руку о косяк, пытаясь её удержать. — Слёзы у неё теперь текли ручьём, и она, кажется, этого не замечала. — И я подумала: пусть ты мне не поверишь. Пусть завтра пойдёшь туда и всем расскажешь про сумасшедшую старуху из прачечной. Я хотя бы скажу. Хоть кто-то скажет это вслух.

Рен посмотрела на ленту у себя в руке.

Она её не помнила. Она пыталась. Пыталась изо всех сил, сидя на деревянной скамье в паре и глядя на выцветший красный атлас, пока не защипало глаза. Пыталась увидеть кухонный стол, детскую руку, тянущуюся за булочкой, собственный голос: *Джун, лента*. Ничего не было — ни картинки, ни звука. Как будто давишь на дверь, которую закрасили наглухо.

Но рука сомкнулась на ленте. Она не велела ей. Пальцы сами сложились вокруг и держали ленту бережно, как держат что-то живое.

— Рисунок, — сказала она. — За батареей.

Хестер замерла.

— Какой рисунок?

Рен достала его из внутреннего кармана и развернула на колене. Три фигуры на зелёной полоске травы. Солнце с лицом. *Мама я и Пип*.

Хестер Лоу издала звук, который Рен запомнит на всю жизнь. Тише, чем всхлип, и старее: что-то вроде скрипа, с каким открывается дверь, которую очень долго не открывали.

— Ох, — сказала она. — Ох, умница. Умница ты моя маленькая. — Она коснулась уголка бумаги кончиком пальца, легко, будто та могла обжечь. — Она, видать, поняла. Как-то поняла. Услышала их на лестнице. И сунула туда, где... ну конечно. Конечно. Батарея. Ты всё время говорила, что

её починишь. Каждую зиму. *В этом году я эту проклятую штуку точно починю, клянусь.* А Дэниел говорил: *Ты и в прошлом году так говорила,* — а Джун хохотала и хохотала. — Она подняла на Рен мокрые глаза. — Она положила туда, где ты найдёшь. Когда наконец до неё доберёшься.

— У меня ушло три года, — сказала Рен.

— Ну что ж, — сказала Хестер, рассмеялась сквозь слёзы и вытерла лицо тыльной стороной ладони. — С этой батареей ты всегда не торопилась.

* * *

Уходили они порознь. Так придумала Хестер.

— Ты первая, — сказала она. — Из двери налево и в обход, по каналу. Не оглядывайся. Я достаю. — Она подняла корзину. В ней лежало только одно сложенное полотенце. — Домой пойду другой дорогой.

— Где вы теперь живёте?

— Неважно.

— Хестер. — Она впервые произнесла это имя. Оно было странным во рту — и в то же время совсем не странным, будто язык произносил его тысячу раз, и только она забыла. — Хестер, если они за вами придут... Нельзя же просто пойти домой и ждать.

— А куда ещё?

— Не знаю. Куда-нибудь. Должно же быть куда-нибудь.

— Есть Подземье, — сказала Хестер. Сказала легко, как называют место из сказки. — Если верить в такое. Говорят, там внизу есть люди, которые хранят имена. Я так и не узнала, как их найти. Духу не хватило искать. — Она улыбнулась. — Мне шестьдесят четыре, милая. Колени больные, сердце больное, и я сделала единственное, что хотела сделать, пока они не пришли. Иди. Иди домой. И спрячь рисунок получше, чем в карман.

Рен пошла. Из двери налево, по Синдер-лейн под железнодорожными арками, вниз по ступенькам к бечевнику вдоль канала — и не оглянулась, потому что ей велели не оглядываться и потому что боялась того, что сделается с её лицом, если оглянется.

Она прошла вдоль канала с полкилометра, под чёрными мостами, мимо пришвартованных угольных барж с зажжёнными фонарями и дымящими трубами. На полпути остановилась.

Она не знала, почему остановилась. Просто остановилась — под третьим мостом, в темноте, под плеск воды о камни, с красной лентой, намотанной на пальцы в кармане.

Потом развернулась и пошла назад.

Она говорила себе, что хочет только убедиться, что Хестер дойдёт до дома. Говорила себе, что посмотрит издалека, с конца переулка, как Хестер смотрела на семью из Девятого округа в своей старой квартире. И всё. Только посмотрит, как она дойдёт.

Она поднялась по ступенькам у дальнего конца Синдер-лейн и остановилась наверху, в тени последней арки.

Перед прачечной стояла телега. Закрытая чёрная телега с единственным фонарём на козлах и двумя лошадьми, которые стояли, опустив головы и паря на холоде. У открытой дверцы стояли двое в тёмно-синих шинелях. Третий выходил из прачечной, держа кого-то под руку.

Хестер шла спокойно. На другой руке у неё висела корзина с единственным полотенцем. Она не вырывалась. Не кричала. У телеги человек, державший её под руку, что-то ей сказал, она кивнула и поставила корзину на булыжник, очень аккуратно, будто имело значение, куда именно. Потом забралась в телегу, медленно, держась рукой за дверцу, — так забираются, когда болят колени.

Третий отступил от дверцы. На него упал свет фонаря. Среднего роста, с коротко остриженными седыми волосами; когда он повернулся, Рен увидела, как блеснул на лацкане маленький серебряный значок, и увидела его лицо — чрезвычайно неподвижное.

Инспектор Рук один раз оглядел Синдер-лейн из конца в конец. Его светлые глаза скользнули по тёмному провалу лестницы у канала, где Рен стояла, вжавшись в кирпич, и не остановились.

Потом он сел в телегу вслед за Хестер, дверцу закрыли, возница тронул вожжи, и чёрная телега покатила по Синдер-лейн к реке, качая единственным фонарём, пока не свер-

нула за угол и не исчезла.

Корзина так и стояла на булыжнике у прачечной. Никто её не подобрал. Полотенце в ней белело в темноте.

Рен долго стояла под аркой.

Из двери налево, сказала Хестер. Не оглядывайся.

За ней следили. Она поняла это, стоя спиной к холодному кирпичу. Не сегодня вечером — сегодня она была осторожна. Раньше. Утром. На лестнице в Доме, когда этот человек стоял рядом, как затопленная печь, и это его мелькнувшее лицо, когда она назвала своё имя. *Кэллоуэй. Это ведь фамилия из Седьмого округа?* Он был в приёмной. Он видел, как женщина в коричневом пальто встала, подошла к ней и что-то вложила ей в руку.

Это она его сюда привела. Вошла в приёмную, остановилась перед Хестер Лоу — и больше ничего не понадобилось. Три года молчания. Одна остановка.

Над аркой прошёл поезд. Кирпич задрожал у неё за спиной. Когда поезд прошёл, она оттолкнулась от стены, вышла в переулок, подняла с булыжника корзину и понесла её домой сквозь темноту, с белым полотенцем внутри, потому что кто-то должен был это сделать и потому что больше никому было.

Глава пятая. Подземье

На следующий день она не пошла на работу.

Она отправила записку с мальчишкой из пуговичной лавки — нездорова, простуда, буду в понедельник — и сидела в комнате 4Б в халате, со снятой с батареи панелью, а рисунок и лента лежали перед ней на столе бок о бок, и она думала.

Думать она умела. Это было то, в чём её всегда считали сильной, — в училище, в Доме. У Кэллоуэй очень упорядоченный ум. Сейчас она старалась быть упорядоченной. Взяла лист бумаги, карандаш и записала своим прямым почерком классной дамы всё, что знала.

Рисунок, подпись «Джунипер 6 лет», найден за панелью батареи в 4Б.

Кладовая с лишней задвижкой на окне и следами от полки.

Промежуток в ящике «К» в картотеке.

Шрам на левой руке. Происхождение неизвестно.

Сторож школы на Белл-лейн, узнавший моё лицо.

Серый фланелевый кролик.

Хестер Лоу, бывшая 4А. С её слов: муж Дэниел, журналист, «Гроссбух». Дочь Джунипер, «Джун». Забраны 14 студня 25 г., 1:30 ночи. Дом утишен. Я возвращена через неделю и переведена в Дом.

Хестер Лоу забрана инспектором Руком, Управление

Преимственности, Синдер-лейн, около 8 вечера.

Из-за меня.

Она сидела над последней строкой, пока карандаш не нагрелся в пальцах. Потом аккуратно зачеркнула её, потому что это был не факт, а чувство, а список был для фактов. Потом сидела, прижав руку ко рту, а через некоторое время написала её снова, ниже, и вычёркивать не стала.

Внизу страницы она написала: *Подземье. Люди, которые хранят имена.*

* * *

Имена вернулись этой же ночью, как она и знала.

Она ждала их на мосту Холлорана — потому что Петра говорила, что Помнящие исписали мост в воскресенье, и потому что именно там она почувствовала очертания утонувшего мальчика, и потому что с чего-то надо было начать. Пришла в полночь, в самом старом пальто — чёрном, не сером. Встала в глубокой тени у северного конца моста, где железная лестница спускалась к бечевнику, и ждала, сунув руки в карманы и намотав на пальцы ленту.

Газовые фонари на мосту горели низко. Никто не шёл. В час проехал последний трамвай, пустой, освещённый, как фонарь, звякнув на повороте. В два пошёл дождь, мелкий кислый морось, промочивший плечи пальто. Она стояла. В три она начала думать, что она дура, в четверть четвёртого

решила, что подождёт до половины, а в двадцать пять минут четвёртого увидела его.

Он поднялся по лестнице с бечевника в дальнем, южном, конце моста, так тихо, что она бы его не заметила, если бы последние десять минут не смотрела в эту самую точку — просто от усталости. Мужчина, худой, в тёмной кепке и слишком большом для него пальто. Он прошёл по мосту, не быстро и не медленно, как человек, возвращающийся поздно со смены. У шестого фонаря остановился. Посмотрел в обе стороны моста. Потом присел у парапета, там, где камень прикрывал от дождя железный колпак фонаря, что-то достал из кармана и начал писать.

Она смотрела на него минут десять. Писал он быстро, всей рукой, не останавливаясь подумать. Закончив один столбец, сдвигался на метр и начинал другой. Больше ни разу не поднял головы. Ей было видно, как на тёмном камне проступают белые буквы, мелкие, аккуратные, целый столбец, а над ним заглавными: НАЗОВИТЕ ИХ ИМЕНА.

Когда он встал и убрал мел, она уже шла к нему.

Он услышал её метров за десять. Обернулся, быстро, как кошка, и она увидела его лицо под кепкой — молодое, лет тридцати, худое, с двухдневной щетиной и тёмными глазами — и увидела, как он охватил взглядом её пальто, лицо, руки, а потом он уже бежал, туда, откуда пришёл, к южной лестнице.

— Подождите! — крикнула она. — Пожалуйста! Я не с...

Его уже не было. Она услышала, как прогрохотали его шаги по железным ступенькам, а потом ничего.

Она побежала за ним. Она годами не бегала. Туфли были не те, пальто отяжелело от дождя, и когда она добралась до верха лестницы и посмотрела вниз, бечевник был пуст в обе стороны — чёрная лента мокрого камня между рекой и стеной.

Она всё равно спустилась. Встала на бечевнике и медленно повернулась кругом. Река. Стена. Ряд швартовочных колец. Выше по течению, метрах в ста, тёмный горб старой трамвайной станции «Висельная пристань», заложенной кирпичом ещё до её рождения. Ниже по течению ничего.

Значит, станция.

Это было приземистое каменное здание, наполовину ушедшее в набережную: арка входа заложена кирпичом, окна заколочены. Над заложённой аркой ещё висела жестяная вывеска, проржавевшая почти до чистоты. **ВИСЕЛЬНАЯ ПРИСТАНЬ. ПЕРВАЯ ЛИНИЯ.** Она проходила мимо сотню раз по пути домой. Дети говорили, что тут водятся привидения. Она медленно прошла вдоль фасада, ведя пальцами по кирпичу, ничего не нашла и обошла сбоку, где набережная круто поднималась, заросшая плющом и сухой ежевикой.

Там была дверь. Низкая, железная, ржавая, наполовину скрытая плющом. Служебная, решила она, с тех времён, когда ходили трамваи. Снаружи ручки не было.

Дверь была чуть приоткрыта.

Рен встала перед ней и прислушалась. Капала вода. За спиной река. Больше ничего.

Она подумала о Хестер Лоу, которая ставила корзину на булыжник, аккуратно, будто имело значение, куда именно.

Она толкнула дверь и вошла.

* * *

Внутри было черно — густая, сырая, полная чернота, которая будто давила на открытые глаза. Рен постояла, давая глазам привыкнуть, но они не привыкали. Пахло старым железом, мокрой землёй и, едва-едва, дымом. Где-то далеко впереди медленно капала вода, *ток, ток, ток*, как часы в пустом доме.

Она положила руку на стену. Кирпич, склизкий и холодный. Пошла, не отрывая от него руки. Через двадцать шагов пол пошёл под уклон. Через сорок превратился в ступени, стёртые посередине в ямки. Она считала их. Тридцать одна. Внизу воздух был другим, холоднее и неподвижнее, и она почувствовала, как вокруг раскрывается пространство, много пространства, — так с закрытыми глазами чувствуешь размер комнаты.

— Дальше не надо, — сказал голос у неё за спиной.

Она остановилась.

— Не оборачивайтесь. Руки на голову.

Она положила руки на голову. Сердце колотилось так, что отдавалось в зубах.

— Я не из Преемственности, — сказала она. — Я ниоткуда. Я одна.

— Так бы и сказали в Преемственности.

— Знаю. — Она сглотнула. — Знаю. Простите. Не знаю, что ещё сказать.

Наступила тишина. Потом чиркнула и вспыхнула спичка, и свет прыгнул у неё за спиной, отбросив вперёд, по полу, её тень — огромную и дрожащую, — и она увидела, где находится.

Это была трамвайная платформа. Длинный низкий сводчатый зал, облицованный белой плиткой, пожелтевшей и позеленевшей от сырости, с чёрным провалом посередине, где шли пути, и железными рельсами в нём, рыжими от ржавчины. На дальней стене, за путями, висела старая эмалированная реклама какао «Пембертон» — улыбающаяся женщина в капоре с чашкой в руке. Поперёк её лица кто-то написал белым мелом буквами в полметра высотой: ЧТО УШЛО — ВСЁ ЕЩЁ НАШЕ.

— Повернитесь, — сказал голос. — Медленно.

Она повернулась.

Это был человек с моста. Он стоял на нижней ступеньке со свечой в стеклянной банке в одной руке, а в другой, низко и не совсем в её сторону, держал короткий железный прут. Вблизи он выглядел старше, чем ей показалось, или просто

усталее. На левой руке, в которой он держал свечу, не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного. Обрубки были старые, заживленные, блестящие.

Он поднёс свечу ближе и взгляделся в её лицо.

— Ох, чёрт, — тихо сказал он. — Это ты.

— Вы меня знаете?

Он не ответил. Опустил прут. На мгновение у него был такой вид, будто он сейчас засмеётся или его стошнит, или и то и другое. Потом он покачал головой.

— Пойдём-ка к Маргит, — сказал он. — Она захочет это услышать. Я, бог свидетель, не знаю, что с этим делать.

— Кто такая Маргит?

— Та, что хранит имена, — сказал он, повернулся и повёл её вдоль платформы, высоко держа свечу перед собой, в чёрное жерло туннеля.

* * *

Его звали Тео. Это он сказал ей на ходу. Тео Марш. Когда-то был учителем, в Двенадцатом округе, до того. До чего — не сказал. Они шли по путям в туннеле, по ощущению с милю, хотя, наверное, меньше, переступая шпалы, пригибаясь под свисающими остатками электрических кабелей, мимо боковых ходов и железных дверей и однажды мимо огромного ржавого вагона, вставшего намертво в темноте, где его бросили двадцать восемь лет назад: окна выбиты, си-

дня обросли плесенью. В боковых ходах были люди. Она видела их только мельком, когда проплывала свеча: женщина спала на подстилке из мешковины, мужчина сидел скрестив ноги и что-то шил, двое детей уставились на неё круглыми немигающими глазами и юркнули обратно в темноту. Тео кивал им, проходя. Никто не разговаривал.

— Сколько вас?

— Достаточно. Недостаточно. — Он оглянулся на неё. —
Голову береги.

Наконец туннель вывел на другую станцию, больше первой; платформа была освещена лампами — масляными, с дюжину, расставленными вдоль края платформы, так что всё длинное сводчатое пространство светилось янтарём, как изнутри церкви. Пути здесь были закрыты досками, и на досках и на платформе стояли столы, стулья, штабеля ящиков, печки с трубами, уходящими в вентиляционные отверстия под потолком. В зале было человек тридцать. Почти все оставили свои дела, когда вошёл Тео, посмотрели на Рен и продолжали смотреть.

Но остановили её стены.

Каждый сантиметр был покрыт именами.

Мелом, углём, краской, карандашом, чем-то похожим на сажу, смешанную с маслом. Они начинались от пола и поднимались по белой плитке к изгибу свода, переваливали через него и спускались с другой стороны. Тысячи. Десятки тысяч. Одни аккуратными столбцами. Другие набросаны гроздьями

— семья вместе, соединённая линиями. У некоторых даты. У некоторых после имени слово-другое: *пекарь. Любила море. Пел. Мать четверых. Так и не научился плавать.* Местами надписи сгущались так, что превращались в серую фактуру, как лишайник, и разобрать отдельное имя можно было лишь там, где ложился свет.

Рен стояла в конце платформы, смотрела вверх и не могла двинуться.

— С первого раза всех так пробирает, — сказал Тео рядом. Он поставил свечу. — Это старая станция «Врата Основателя». Самая большая на Первой линии. В третьем году, после наводнения, всю сеть заложили. Никто сюда не ходит. Никто не помнит, что она тут. — Сказал он это без всякой иронии. — Маргит в конце. Пошли.

* * *

В дальнем конце платформы, за печками и столами, была касса. Деревянная будочка со стеклянным окошком и латунной решёткой, где когда-то покупали проездные. Дверь была открыта. Внутри на полке горела лампа, а под лампой в высоком кресле, из которого лезла набивка, сидела очень старая женщина с закрытыми глазами.

Она была крошечная. Закутанная в шали, шапочка белых волос, лицо как грецкий орех. На коленях у неё лежал гроссбух — большая тяжёлая книга в чёрном переплёте, раскры-

тая, — и руки её лежали на страницах, ладонями вниз, как, видела Рен на старых картинках про церкви, кладут руки на псалтирь. На полках вокруг было ещё много grossбухов, десятки, до самого потолка. Одинаковых: чёрный коленкор, номера на корешках белой краской.

— Маргит, — сказал Тео. — К тебе.

Старуха глаз не открыла.

— Слышу. Пол-платформы дышать перестало. — Голос у неё был сухой, тонкий и насмешливый, как бумага. — Кого ты мне привёл, Тео?

— Лучше сама услышь.

Старуха повернула лицо к двери. Глаза её открылись. Они были белые, как варёные яйца, с едва заметной серой тенью там, где когда-то была радужка. Они смотрели мимо левого плеча Рен в никуда.

— Подойди, дитя, — сказала она. — Дай руки.

Рен вошла. В будке было так тесно, что пришлось встать на колени на пол перед креслом. Она протянула руки, старуха безошибочно нашла их и взяла в свои — очень холодные и очень мягкие, как пенка на старом молоке.

— Скажи что-нибудь.

— Я не знаю, что сказать.

— Годится. — Большие пальцы Маргит медленно двигались по тыльной стороне рук Рен, ощупывая кости. Потом перевернули её левую руку и нашли шрам. Прошли по нему от основания указательного пальца до основания ладо-

ни. Раз. Другой. Лицо старухи не изменилось. — Так-так, — тихо сказала она. — Так-так-так. Кэллоуэй.

У Рен перехватило горло.

— Рен Элизабет Кэллоуэй, — сказала Маргит Хейл. — Родилась в минус восьмом году. Осиротела в лихорадку. Училась на Утешительницу, одиннадцатый год. Дом Четвёртого округа, двенадцатый год. Вышла за Дэниела Кэллоуэя, девятнадцатый год, в регистрационной конторе на Лэмб-стрит, свидетели — Хестер Лоу и печатник по имени Гас Фенн. Дочь, Джунипер, родилась девятого цветня девятнадцатого года. Ушла из Дома, двадцать второй год. — Она помолчала. — Пришла к нам, двадцать второй год.

— Пришла к вам?

— Она не знает, — сказал Тео из дверей. — Маргит, она ничего не знает. Её утишили. Чисто сделали.

— Я это слышу, Тео, я слепая, а не глухая. — Белые глаза Маргит не сходили с пустого воздуха над плечом Рен. Её большие пальцы всё ходили по шраму. — Открой страницы Кэллоуэев, — сказала она. — Книга девятнадцатая. Наверху третьей полки. Принеси и открой ей.

Тео принёс. Встал на колени на пол рядом с Рен в тесной будке, раскрыл чёрный гротеск у них обоих на коленях и стал листать, и страницы были полны, все до одной, разлинованы в столбцы, строка за строкой имён, десятком разных почерков. Он нашёл место, положил на него палец, сдвинул лампу, чтобы свет упал на страницу, и убрал руку.

Там было три строки.

КЭЛЛОУЭЙ, Дэниел Джеймс. Род. минус 13 г. Журналист («Курьер»; «Гроссбух»). Объявлен 14 студня 25 г. Забран: Стиллуотер. Судьба: неизвестна.

КЭЛЛОУЭЙ, Джунипер Роуз. Род. 9 цветня 19 г. 6 лет. Забрана 14 студня 25 г. Стиллуотер (Восточное крыло?). Судьба: неизвестна.

Третья строка была другим почерком. Рен узнала его в ту же секунду, ещё не прочитав слов. Узкий, прямой, очень аккуратный. Почерк классной дамы.

Её собственный.

КЭЛЛОУЭЙ, Рен Элизабет. Если вы читаете это и вы не я, значит, меня забрали. Пожалуйста, найдите мою дочь. Её зовут Джунипер. Ей шесть. Она боится темноты и делает вид, что не боится. Спит с кроликом по имени Пип. Скажите ей, что я не дала им заставить меня её забыть. Скажите ей, что я боролась. Скажите ей

Строка обрывалась, без точки. Чернила просто кончились у края столбца — будто у руки отняли перо, или будто руку окликнули, и она собиралась вернуться и так и не вернулась.

Под этим другой рукой, карандашом, мелко: *Р. К. забрана 14 студня 25 г. По сведениям, переведена в Дом, 7-й окр., 25 г. Утишена. НЕ ПОДХОДИТЬ.*

Рен прочла это. Потом прочла ещё раз. Второй раз — ради очертаний горя, которое на этот раз было не между строк, а в них, в каждой букве этого узкого прямого почерка, который

она узнала бы где угодно, которым она этим утром написала свой аккуратный упорядоченный список фактов.

Скажите ей, что я не дала им заставить меня её забыть.

— Это написала я, — сказала она.

— Ты, — сказала Маргит Хейл. — Сидела вот в этом кресле, рядом с которым Тео стоит, три года назад, без малого, за две ночи до того, как за тобой пришли, и написала это, потому что, сказала, у тебя предчувствие. Сказала, что две ночи подряд слышала телегу на Тэллоу-стрит. — Холодные руки старухи сжали её ладони. — Ты была наша, дитя. Одна из лучших.

— Одна из лучших кого?

Белые глаза Маргит не шевельнулись. Но что-то в её лице шевельнулось — очень старое, очень усталое и почти нежное.

— Помнящих, — сказала она. — Ты хранила имена.

В гроссбухе на коленях чернила недописанной строки выцвели до коричневого. *Скажите ей, что я боролась. Скажите ей.* Свеча в банке Тео затрепетала. На стенах за маленькой будкой десять тысяч имён мелом, углём и сажей поднимались в темноту свода, переваливали через него и спускались вниз, и где-то среди них, хотя Рен этого не знала, был столбец, который она написала сама, много лет назад, стоя на стремянке, а у подножия стремянки в корзине спала трёхлетняя девочка.

Она не заплакала. Потом она будет думать об этом, и это

напугает её больше всего, что случилось той ночью. Она стояла на коленях на полу старой кассы, держа под ладонью имя дочери, своё собственное имя и свою недописанную фразу, и не плакала, потому что не знала как. Она никогда не училась. За три года ей ни разу не было о чём плакать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.